



История цивилизации села Талдом.

По Савеловской железной дороге от ст. Талдом до Кимр на Волге (18 верст) лежит глухое болото Ворогошь, в старые времена приют беглецов от церкви, государства и общества; на берегу этого болота теперь живут ремесленники, разного рода сапожники, башмачники, скорняки, портные, всего в краю насчитывают двенадцать, или тринадцать ремесл, но в подавляющем числе талдомские - башмачники и кимрские - сапожники. Не надо себе представлять, что ремесленники распределены только в этих крупных центрах, их гораздо больше в деревнях, и так, что если портные, то вся деревня - портные, и даже две-три под ряд, скорняки, так опять все на-чисто скорняки, а башмачники, даже по своим специальностям, несколько деревень под ряд занимаются детской обувью, дальше, тяжелой обувью, еще дальше легкой, красивой; есть деревня, где живут одни пастухи, которые ранней весной являются в близлежащий центр со своими рожками, трубят там на базаре, играют и нанимаются на лето. Чрезвычайно интересный край для исследователя, благодарный в высшей степени, потому что мало-мальски вдумчивому человеку легко можно ввести всевозможные улучшения в рутинные приемы всех этих ремесел.

Что это, скудость болотистой почвы оторвала население от исключительного занятия земледелием, или, может быть, промышленная инициатива явилась наследством относительного чувства свободы, которую обрели себе Ворогошские беглецы, изгои церкви, государства и общества? Я ничего не могу ответить на этот вопрос, потому что нет никаких источников для изучения края, и скудные сведения, с большим трудом добытые, взяты мной из неизданных записок бывшего священника, о. Михаила Крестникова (в революцию он снял с себя сан и отдался истинному своему призванию, кооперации).

Талдом - записано у М. Крестникова - вернее всего слово татарское и значит стоянка, а может быть и финское - желтая земля. Есть и простодушная легенда о русском происхождении слова: было местечко Великий Двор, куда с'езжались для отбывания общественных работ крестьяне, приписанные к монастырям; однажды, этот двор сгорел, и когда выстроили новый, архиерей сказал: "вот и стал дом", с этого будто бы и начался Талдом. В XVIII веке тут проходила дорога от низовий Волги на Петербург, талдомцы ездили по ней в Саратов, там ознакомились с кожевенными товарами и начали свое местное производство обуви. На первых порах обувь эта была "кирпичи", так назывались мужские башмаки, потому что в них между стелькой и подошвой прокладывался слой глины. О тяжести такой обуви можно судить по преданию о силаче Ефреме Соколове, который

снес в Москву в один день (сто верст) сто пар кирпичей, весивших девять пудов. Переворот в производстве этой первобытной обуви произвело знакомство с товаром "выросток", после чего началось производство культурного Осташевского типа обуви (осташей). С половины XIX века начинается плисовая и бархатная обувь на меху, ныне совершенно исчезнувшая ("и очень жаль, - написано у о. Михаила, - в холодное время было так хорошо засунуть ногу, голую, без чулка, прямо в мех"). С половины девятнадцатого века поездки молодежи в Москву повели, наконец, к знакомству с юхотными товарами, появились специалисты, отличающие козла от барана, и началось современное производство, в некоторых отношениях превосходящее Европейское и Американское.

В записках имеется маленькая хронологическая таблица главных событий в истории торгового села Талдом, вот она:

Год 1901. Постройка железной дороги Москва - Савелово.

1906. Начало мостовой в селе Талдом.

1907. Первый фонарь на улице села Талдом.

1912. Почта переезжает в собственное здание.

1920. Село Талдом переименовывается в город Ленинск условно, если докажет свою экономическую и финансовую жизнеспособность.

1923. Электрификация города Ленинска.

Этой таблицей этапов цивилизации села Талдом заканчиваются записки бывшего священника о. Михаила и в распоряжении исследователя остается только устное предание и своя личная догадка. Так, я догадываюсь, напр., что имя Ленинск, сменившее корявое Талдом (уроженец этого края Салтыков-Щедрин не из него ли создал свой Глупов?), дорого стоило местным гражданам, претерпевшим из-за городского устройства очень большое обложение, иначе как же объяснить, что товары в Ленинске стоят много дороже, чем в Москве и Кимрах, сохранивших свое прежнее наименование. Местные идеалисты говорили мне, что более легкое обложение в Кимрах объясняется более интеллигентным составом Кимрского Исполкома, но это, по-моему, старая погудка о роли интеллигенции, а собака зарыта не тут. И правда, на вопрос мой о благотельной роли кимрской интеллигенции один из представителей Ленинской власти ответил: "ничего подобного".

Контакт с волчками.

Оставляя местную историю и переходя к описанию современного быта, я рекомендую своим московским читателям, желающим купить недорого дамские башмаки, отправиться с первым утренним трамваем на Савеловский вокзал, найти там вблизи быв. трактир Кабанова, занять там столик и за чаем дожидаться прибытия поезда из Ленинска. Через несколько минут после прибытия поезда весь большой трактир наполнится башмачниками с корзинами обуви, каждый из них займет место за столиком, а кто не успеет - на полу, потом быстро все распакут корзины, и весь трактир превратится в выставку женских башмаков и сандалий. Редко является сюда тот покупатель, кому нужно купить товар для личного потребления, покупают же те самые люди, которые в старое время стерегли мужика с хлебом на большаке и, скупив его, везли в город сами. Так бывает и тут, спекулянты отправляются куда-нибудь на Сухаревку, а мастера возвращаются на места... Спрашиваешь себя, разве мало теперь кооперативных союзов, устроенных именно с целью устранить посредника между мастером и потребителем, почему же мастер, теряя время, едет сам и товар все-таки попадает к купцу? Скажу даже больше, почему ремесленник предпочитает брать товар у купца и готовить обувь на его заказ, чем на кооператив? Я очень много расспрашивал про это явление и не узнал правды, потому что в этом вопросе, видимо, узлом сходятся новые идеи

государственного строительства и традиции населения; в общем, мастера ссылаются на бездарность или неосведомленность лиц, назначаемых в кооперативы, а сами кооператоры объясняют все горе темнотой населения, предпочитающего по одиночке отдаваться в руки спекулянтов, чем коллективно бороться с ними через кооперативы. Словом, в этом пункте начинается какое-то дело, но быта еще нет, потому что быт, в моем представлении, является после борьбы, когда и победители и побежденные начинают в чем-то сходиться, и это их искреннее приспособление друг к другу называется миром.

Рекомендуя для покупки обуви трактир Кабанова, я рискую все-таки подвести неопытного покупателя; многие мастера, наверно, и потому избегают кооперативы, что обувь их блестит только снаружи; мне думается, что развитию кооперативного дела служит одним из главных препятствий естественный индивидуализм ручного труда, на одном полюсе которого находится мастер-жулик, на другом - мастер-волчок, как называется в обувном деле артист, изготавливающий художественную обувь. Ни жулику, ни волчку невыгодно идти в кооперативы, а станешь думать о среднем товаре, то это себе только он кажется средним, сам мастер себя, наверно, считает всегда выше среднего. Много я перевидал разных мастеров в надежде найти среди них волчка и познакомиться с жизнью, казалось мне, средневекового типа ремесленника, но тех, на кого мне указывали, после оказывалось, нельзя было считать волчками, и жизнь их была самой обыкновенной.

- Кто это вам указал, - говорили мне, - какой это волчок! живет сыто, семейно, обут, одет.

- А настоящий? - спрашиваю я.

- Настоящий волчок ходит в двух фартуках.

- Для чего в двух?

- Без штанов, прикрывается спереди и сзади фартуками. Попробуйте поговорить с Мишей Шпонтником, тот, кажется, настоящий волчок.

Нахожу Мишу Шпонтника, спрашиваю:

- Вы настоящий волчок?

А он как будто даже немного обиделся.

- Я, говорит, мастер обыкновенный, гоню со своим помощником в неделю восемнадцать пар, а волчок делает в неделю только две, может быть, и правда, я был бы волчком, если бы мне можно было работать только две пары.

- Я считал за честь быть волчком, - ответил я, - и хотел сказать вам только хорошее.

- Ничего нет в этом хорошего, одно самолюбие, ему надо сделать напоказ, чтобы все видели и удивлялись ему, а я человек семейный, у меня в сарае крыша развалилась, мне надо обязательно выгнать в неделю восемнадцать пар. Нет, вы ошибаетесь, я по своему характеру не могу быть с волчками в контакте.

И на вопрос мой, где бы мне найти настоящего волчка, ответил:

- Волчка вы здесь не найдете, они заняли места более важные.

- Какие же это места?

- Места по их словесности.

- И важные?

- Одни ходят с портфелями, у других автомобили и свои шоферы.

Я догадался о настроении Миши Шпонтика и сказал:

- Значит, волчки занялись советской работой, но ведь и вам путь не заказан.

- У меня нет их словесности, и ему это просто, у него ни кола ни двора, занимайся чем хочешь, а у меня - жена, дети, дом свой, сарай, везде дыры, я привязан к своей собственности и с волчками не могу быть в контакте.

В конце концов этот волчковый вопрос распутался таким образом: до революции множество мастеров жили в Москве и в Петербурге, а во время голода и обнищания городов перебрались в деревню к себе, занялись земледелием. Теперь, когда условия городской жизни улучшились, волчки, как легкие на почин, перебрались в столицы, а средние мастера все боятся бросить земледелие, разорительное, но все-таки обеспечивающее на случай какой-нибудь новой катастрофы. Мне почему-то казалось, что волчок - явление самобытно-русское, но оказалось, - другое название им "немецкие мастера", и свое искусство взяли они у иностранцев, что и за границей есть свои волчки, отстаивавшие свое капризное существование у машины за счет быта своих отцов. Я слышал, что не этого рода обувью мы славимся за границей, а работой такого среднего мастера, как Миша Шпонтик, который, не имея у себя на родине механического конкурента, может дешево дать на иностранный рынок более ценный там продукт ручной работы. И само собой ясно, что, при широком распространении у нас механической обуви, грубой, но прочной, исчезнут средние мастера и останутся только волчки, но вовсе не как национальная гордость и самобытность, а как всемирный противник механизации, артист.

Бык, чорт и мужик - одна партия.

В этих полупомещичьеских, полупромышленных деревнях, в мрачное время застоя народной жизни между двумя революциями, по словам стариков, жилось безобразно: в каждой деревне было несколько мастерских, принадлежащих местным богатым, и в них были заняты сотни мастеров, большей частью пришлых; по недостатку духовной пищи весь этот люд занимался пьянством, озорством и разлагал деревенский быт. Теперь все эти мастерские исчезли, пришлый люд схлынул, коренные люди возвратились к своим хозяйствам, и, в общем, строй жизни принял тон небывалой серьезности и напряженности труда.

В одном вымороченном доме, так заросшем вокруг кустами и деревьями, что в комнате темновато, - я присоединился к труженическому быту со своей чернильницей. Как радостно было мне услышать тут, в первый же вечер после своего водворения на место добровольной ссылки, чей-то голос за углом: "тише, ребята, тише, он лампу зажег, пишет". И на другой же день стали появляться читатели с просьбой дать какую-нибудь книжку. Одному, за то, что он выучил мою книгу Колобок наизусть и всю ее рассказал на том бревне, где собирается по летнему времени сход, я книгу эту подарил, и вот раз застал мужа с женой в большой ссоре за книгу: оказалось, что жена его покрыла от мух горшок с молоком. Увидев на горшке с молоком книгу, десятки раз прочитанную и даже выученную, я испытал чувство истинного удовлетворения, какого не давала мне никакая рецензия, умная, глупая, и никакой юбилей не может этого дать никогда, а муж с женой, оба, сделав для меня самое лучшее, все продолжали ссориться из-за книги. Я так и не мог их помирить и доказать, что нет ничего любезнее автору, как увидеть свою книгу в повседневном домашнем употреблении, хотя бы и для покрывания горшков с молоком. "Нет ли и во всей нашей жизни, - думал я, унимая мужа с женой, - такого лица, которому все мы доставляем большое удовольствие, и в то же время, не понимая этого, ужасно ссоримся между собой?". В самом деле, как бы ни было худо, а все-таки непременно же есть такие минуты истинного счастья, незаметные, неценнимые, из-за чего собственно мы и держимся в жизни и дорожим ею; но не всегда прилично о них говорить, и даже нужно сказать что-нибудь злое, вроде того, как недавно рассказал Максим Горький, как мужики сожгли его потребилку. А помню, с тем же Горьким в феврале мы ехали на извозчике мимо Марсова поля, и он мне с сияющими счастьем глазами рисовал план грандиозного памятника на костях

революционеров. Я робко спросил его: "повезут ли только хлеб мужики, Алексей Максимыч?" - "Уже везут, - сказал он, - со всех концов везут". И вот оказывается теперь, что мужики злы чуть ли не по своей природе, или от чтения жития святых. Вот я и думаю, что Алексей Максимыч в феврале испытывал ту свою минуту счастья, но ему не дано было сказать о ней, и потому теперь он говорит обратно. Так, ничего нет трудней, как говорить о хорошем. Но что же делать, когда растерялся, и все-таки хочется жить? Я думаю, что нужно смириться до простого факта и начинать все заново. Вот недавно сижу среди деревенской молодежи в праздник, заняться им нечем, заказали пиво и самогонку, и в тот момент, когда принесли уже вино, вдруг являются из далекой деревни ребята играть в футбол. Мигом самогонка куда-то исчезла, и наша партия отправилась в поле. Трудно бы в прежнее время представить себе такой случай, - тогда в деревне не играли в футбол. Теперь в этом краю в каждой деревне чуть ли не по три команды футболистов, странствующих по воскресеньям из одного места в другое для своих побед и поражений. Я читал у Энгельгардта в его "Письмах из деревни", что в одной деревне, исследованной им в течение десятка лет, почему-то мужики побогатели, пить стали меньше, и молодежь вместо прежнего пьянства занялась охотой с гончими. У нас теперь занялись футболом, и любо смотреть в воскресенье на выгоне вместе со всей деревней на состязание наших и чужих и радоваться, когда наши наколотят чужих, или посмеяться, когда достанется нашим. И тех же ребят я совершенно ясно себе представляю притаенными у изгороди, когда гонят стадо, один, с шильцем в руке, подкрадывается к корове - чик! ей в бок, потом чик! - другой, тоже очень интересное дело. Я хочу сказать в общем, что в деревенской природе все от солнышка, греет оно или не греет, и те же самые мужики могут быть очень злыми и очень добрыми, а не так, как смотрит на них, например, житель пригорода, мещанин, считая что бык, чорт и мужик - одна партия.

Илья-то Илья, да не будь и сам свинья.

Хлеб сеет у нас тут одна старуха Прасковья, к ней обыкновенно за этим и обращаются, она и знахарка и, кажется, акушерка. Явилось это потому, что, как я уже говорил, в прежнее время мужчины жили на заработках в столицах, а женщины занимались земледелием, теперь, из опасения новой катастрофы с продовольствием, мужчины все еще сидят в деревне и неохотно, но все-таки занимаются и земледелием; только сеять уже не решаются и поручают это бабушке Прасковье. И велико же было смущение этой старухи-сеятеля, когда вдруг, еще недели за две до созревания трав, сказали, что по новому закону завтра Петров день, и в селе будет служба, а в старый Петров день, когда травы созреют, никакой обедни нигде служить не будут. Для всех это было довольно просто, - не признавать нового Петра, работать, а в старый - праздновать, значит, не работать. У всех праздник, понимается просто, а бабушке непременно в праздник надо сходить к обедне. Так она и решила вечером, что ежели о. Николай в нового Петра зазвонит, нечего делать, надо итти, а если промолчит, то она будет работать. В сущности говоря, повод для смущения был несколько не меньший, чем и во время Никона, но уже не тот народ и не те вожди, в воздухе не пахло трагедией. После мне говорили (не знаю, правда ли), будто бы в одном селе неподалеку от нас в Петров день мужики решили сжечь церковь вместе с попом, но все обошлось благополучно: поп подчинился, не служил обедню в новый Петров день и не сгорел. Пусть это будет и легенда только, но все-таки характерная, что сами-то прихожане не захотели гореть за веру, как в старое время, а только обрекли на жертву попа, и что поп тоже не пожелал гореть и не принял трагедии. Так вышло, что все мое внимание при наблюдении такого интересного положения сосредоточилось на бабушке Прасковье. Утром, уходя в лес, я услышал звон и спросил Матвея Филиппыча, сына Прасковьи:

- Как бабушка, пойдет ли в церковь?

- Собирается, ответил он.

В полдень я встретил Матвея в лесу, - рубил жерди. Спрашиваю:

- Вернулась бабушка из церкви?
- Вернулась, отвечает, до церкви не дошла, одумалась.
- Что же говорит?
- Говорит, что помолиться можно и дома.

Так в нового Петра забастовка вышла полная, и те, кто праздник понимали по-язычески, не работали, и православная бабушка, несмотря на звон о. Николая, не пошла в церковь.

На малое время в это дождливое лето выкатилось жаркое солнышко, травы все зацвели, созрели, и пришел старый Петров день. И какой же, оказалось, хитрый о. Николай, он ударил в этот день во второй колокол, чтобы прихожане не слышали и не пошли в церковь, и все-таки отговорка осталась, - звонил-мол. Бабушка этот звон не слыхала, в церковь не пошла и молилась дома. А другие праздновали обыкновенно, молодежь играла в футбол, девушки на том же лугу красовались, покусывая подсолнухи и повизгивая частенькие песенки. Казалось, так и пойдет дальше с праздниками, в привычное время не будут работать, а бабушка за всех будет у себя в избушке богу молиться. Но подходит Илья, и вот осложнение: Илья - годовой праздник, престол, и без службы его праздновать никак невозможно, вскоре же после Ильи следует особенный праздник - Кирика и Улиты, когда молятся во избавление от в какие-то времена бывшей чумы и когда особенно сладка бывает самогонка. Веселее всех бабушка, она теперь окончательно установилась на старом и говорит:

- Илья-то Илья, да не будь и сам свинья.

А у граждан полное уныние, в престол без попа водка в рот не пойдет.

Что тут делать? Золотой человек Филипп Яковлевич, председатель, один не унывает, он хорошо знает, что нет такого положения, из которого нельзя выцарапать, тип на Руси повсеместный, во время напора революции состоял в каких-то властях, познакомился с лицами с духом новых законов, и теперь без него мужики, как без головы. Филипп Яковлевич является из города веселый, говорит:

- Все будет, и поп и все, как следует.

Встречаю в лесу гражданина, идет, подпирается, - будто бы железным костыликом, но я рассмотрел: трубка для самогонного аппарата.

- Попа, спрашиваю, угощать готовите?
- Все, отвечает, будет по-старому. Филипп Яковлевич закон откопал, дело верное, а это все о. Николай баламутит.
- Зачем же о. Николаю народ смущать, ведь ему тоже, наверно, хочется выпить?
- Ну, как же не хочется, да ему надо и в живую церковь пролезть, там ему сулят архиерея. Вот приходите вечером на сходку, все раз'яснится.

Природа науку одолевает.

С удовольствием иду я вечером на сход. Я как-то и раньше с трудом читал газеты и больше интересовался в них библиографией, но как теперь этот отдел во всех газетах очень запущен, то и не получаю совсем газеты, а урывками читаю, когда попадет листок, между тем в деревне кто-нибудь непременно читает и потом подробно рассказывает на сходке о всем важном. У меня вообще теперь такое чувство, что, будто, простой народ, несмотря на все жалобы, на действительно вялое дело школ, быстро догоняет нас в развитии. Во всяком случае, географию выучили отлично, разбираются в истории, в законах, теперь часто в беседах забываешься и не

смотришь, как раньше, на них, как на детей. Хорошо ли, худо ли, вопрос отдельный, а только - плотина прорвана и вода прет. Несколько хороших книг из моей библиотеки редко залеживаются дома и ходят из хаты в хату, из деревни в деревню, среди этих книг есть, например, и такие, как Ключевский. Журнал "Красная Новь", высылаемый мне в двух экземплярах, совсем у меня не живет.

Вот из окна высовывается Елизар Наумыч и подает мне прочитанную им последнюю книжку журнала.

- Как вам понравилось стихотворение? спрашиваю я, потому что стихотворение хорошее, о деревне, и сам поэт живет тут вблизи.

- Хорошо? спрашиваю.

- Цветочки разные, - отвечает читатель, - я не знаю, зачем это нужно, это его домашние чувства.

- Чего же еще вам нужно от поэта?

- Пользы.

Так и отрезал, а человек умный, придумчивый даже, но что с ним поделаешь, стихи не понимает! Я спросил про свое сочинение.

- Хорошо, только очень отдаленно, не пододец ли это у вас к чему-нибудь серьезному?

- Пододец, пододец, - бормочу я.

Туговато с новым читателем, все ищет пользы. А Горький очень понравился. Разбираюсь, почему же именно, и понимаю, что читатель-искатель сам себя узнает в авторе. Как и Горький того времени, он читает всякие научные книги, и каждый новый ему факт знания, вычисленный ученым, может быть, совершенно бесстрастно, чисто математически, у читателя окрашивается чувством какой-то особенной радости за науку и в ней чудится ему выход темному человечеству, в этой науке, открывающей и отдаленнейшую звезду. И как ни старался Толстой, образованному не приходит в голову простой вопрос, что другой читатель из той же науки, быть может, берет удушливые газы, и что тут дело не в самой науке, а в сердце читателя. Гениально изображен у Горького космический сумбур, поднятый в его голове чтением метафизики, и удивительно сочетание в этом отрывке читателя, искателя и поэта. Из этого космического хаоса вырастает, конечно, страшный протест на обычные сказания о боге, острие ставится прямо к острию.

- Вы, должно быть, материалист? спрашиваю Елизара Наумыча.

- Ну, да, отвечает он, в бога не верю, значит, материалист.

- А кто же свет сотворил? спрашивает седой человек, подходя к бревну под окном Елизара Наумыча.

Бревно то самое, на котором в летнее время собирается сходка.

Задав свой вопрос, старик сел на бревно и дожидается.

А Елизар Наумыч выносит последний номер "Безбожника", который он получает с первого номера.

- Вот почитай, и узнаешь, кто сотворил свет.

- Ну, кто же?

- Попы.

А народ все прибывает и окружает безбожника. Так, подумаешь под углом средневековья, по мнению многих соответствующего нынешней жизни русского крестьянина, до чего же должно быть

остро это вступление безбожника в среду, где никак не могут себе представить жизнь без хозяина, под исключительным управлением человека; казалось бы, за страшное кощунство безбожника мужики бы должны разорвать Елизара Наумыча, как они чуть не разорвали Горького за потребилку. Но вокруг одно только веселье...

Как это понять?

Мне рассказывал Горький, что ему в февральские дни привелось наблюдать в Петербурге такую сцену: под огнем пулемета с крыши солдаты как-то исхитрились пробраться на чердак и там захватить городского, казалось бы, только-что рисковавшие жизнью солдаты должны были там же на чердаке разорвать городского, но все они вышли и с городским, и с пулеметом как ни в чем не бывало, и все хохотали и, по словам Горького, сам фараон тоже хохотал...

Ну, как это понять?

А, может быть, смех и веселье во всяких положениях - природная черта гущи народной, не только нашей?

Особенно хохотали на сходе по поводу одного стихотворения, в котором все боги попали под телегу и сам бог-отец здорово поломал себе ребра.

Даже и тот старик много смеялся, пока, наконец, надумал спросить:

- А все-таки, кто же свет сотворил?

Но тут староста ударил палкой по земле, крикнул: "к делу", и сходка стала заниматься трудным вопросом, кому загораживать недогороду в три с половиной сажени.

Мы же с Елизаром Наумычем продолжали свой разговор.

- Вы, - спросил я, - совершенно в бога не верите?

- Этому и невозможно верить.

- Но как же раньше-то, наверно, верили?

- Верил, что Илья по небу катается, и оттого гроза, а когда стал книги читать, узнал, что обман, и действует электричество.

Так мы беседовали, а сходка, решив вопрос о недогороде, вдруг перешла к живому вопросу, - как же все-таки праздновать Илью. Тут председатель Филипп Яковлевич и сделал свои необыкновенные раз'яснения: оказалось, что по декрету все граждане могут в любое время устроить себе праздник: постановили на сходе, сделали выписку из протокола, на другой день пришли в исполком, там приклеили марку за тридцать лимонов, и все.

- Молись хоть луне, хоть чорту, сказал Филипп Яковлевич.

- И можно с попом?

- Ну, как же!

- А ежели он луне не захочет служить?

- Найдем другого, - всякие есть попы - и обязательно, чтобы плясал, так и будем просить, чтобы с плясом.

На этом и порешили с великим весельем.

Под конец сходки я спросил, почему это вышло так, в первое время революции сходка проходила с чередованием голосов, с записями, а теперь опять все забросили и стали брать криком, как в



вечерние времена. Мне на это ответили:

- Природа науку одолевает.

И рассказали, как барин кота научил тарелки на стол подавать и как раз этот кот, завидев мышь, бросился за ней, и перебил все тарелки. И это значит, что - природа науку одолевает.